

Тамара КАЛЁНОВА
Сергей ЗАПЛАВНЫЙ

ДОМ ДУШИ



ВТОРАЯ КОЛЕЯ

Главное произведение

У него была интересная манера говорить. Когда он сомневался или с трудом припоминал, то запинался о союз «и»: и... и... и. При чем произносил его двоянно — ии. Затем шла вымолчка, порой довольно длительная. Потом он сам себе задавал вопрос: «Так в чем глубина моей мысли?» — и отвечал: «А глубина моей мысли состоит в том, что...» И всегда у него находились именно те слова, единственно точные, верные. Если же сомнения перевешивали, он говорил, что не помнит того или иного факта, а сочинять не станет — не обучен. Поэтому каждое его слово приобретало силу исторического документа.

А познакомила нас Римма Ивановна Колесникова, литературовед, доцент Томского университета, человек, знающий и любящий то, чего нет и не может быть, — как утверждали столичные мужи, — сибирскую литературу. Произошло это в 1972 году, в «пору глухого листопада», когда после недолгой оттепели вновь похолодало.

— Хотите увидеть писателя, имя которого стояло на обложке «Сибирских огней» в двадцатые годы рядом с Зазубриным и Сейфуллиной, а потом было стерто ГУЛАГом?

Хотим ли... Что за вопрос? Молодые литераторы, выпускники Томской альма-матер, мы уже перешли от первооткрывательской радости поиска и сотворения курсовых и дипломных работ по творчеству малоизвестного в те годы Андрея Платонова и проблемам конструктивизма к осмыслению собственно сибирской литературы. А в ней имя Владимира Зазубрина стояло в особом ряду: в двадцать пять лет он создал роман «Два мира», по сути — первый в советской литературе, в тридцать — возглавил Союз сибирских писателей, много сделал для становления журнала «Сибирские огни», в сорок три — расстрелян как «враг народа». И вот оказывается, в нашем городе, рядом с нами, живет его сотоварищ — Тихменев, Федор Иванович Тихменев... Эта фамилия нам ничего не говорила. Но ведь до публикации в «Новом мире» рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» мы не знали, что есть такой писатель. Мы многое чего не знали...

Тихменев обитал в скромной двухкомнатной «хрущевке» на Опытном поле, тогдашней окраине Томска. Пятиэтажный дом стоял недалеко от трамвайной петли, где, скрежеща и повизгивая на седых от мороза рельсах, трамвай делал поворот и уходил обратно, в глубину города, оставляя за петлей овражистый спуск и зубчатую стену чернолесья. Позднее эта стена изредилась, ее прошибла бетонная дорога, и на пологом холме стал прорастать и вырос Академгородок.

Семья Федора Ивановича состояла из него самого, племянницы Рады Павловны Чумак и ее детей, Саши и Танюшки. Жила эта семья дружно и как-то по-особому уважительно к себе и другим. Здесь, а позднее на улице Советской, куда переехали Тихменевы, любили привечать гостей, а беседы за чаем велись длительные и неторопливые, как в старые добрые времена, когда общение было потребностью, а не долгом.

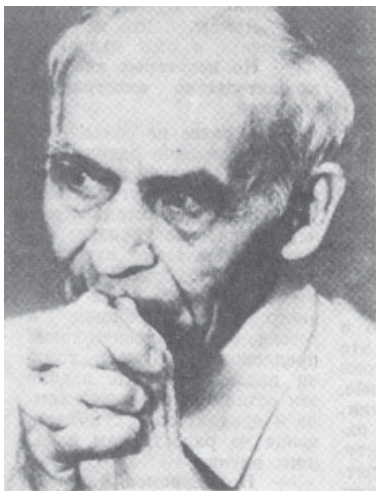
Говорили о разном. Федор Иванович все больше слушал, внимательно всматриваясь в собеседника своими прекрасными испытующими глазами. Был он невелик ростом, но для своих восьмидесяти с лишним лет еще крепок. О здоровье предпочитал не говорить, о двух десятках лагерной жизни — тем более. Зато оживлялся, когда речь заходила о Зазубрине и других товарищах из его литературной молодости. С гордостью показал нам третью книжку «Сибирских огней» за 1970 год, где были опубликованы его воспоминания «В.Я. Зазубрин в Канске». Радовался, что Римма Ивановна Колесникова отыскала в архивах рукопись повести «Щепка»¹, самой, пожалуй, жесткой и правдивой вещи Зазубрина, рассказывающей о том, как доведенная до абсурда теория классовой борьбы превращает ЧК в мельницу массового террора, а преданность революции — в кровавый фанатизм. Охотно отвечал на вопросы Сергея Сергеевича Парамонова, тоже литературоведа, преподавателя университета, большого друга семьи Тихменевых.

Как-то под настроение Федор Иванович показал свои публикации в «Сибирских огнях», в том числе статью «О литературных «зазубринках» В. Зазубрина» и пьесы для детей «У костра» и «Смычка». Вздыхнул с горечью:

— Жаль, не уцелела рукопись романа.

Так вот и слышали мы впервые о главном произведении Тихменева. Естественно, стали расспрашивать, о чем оно.

— Я бы сказал — о ветвях семейного дерева, прорастающего во времени, — после некоторого раздумья сказал Федор Иванович и по обыкновению сцепил у подбородка большие выразительные руки. — Роман начинается с истории жизни Ивана и Анны. Кто такой Иван,



¹ Написана в 1923 году. Впервые опубликована в журнале «Сибирские огни» — № 2 за 1989 год, затем в альманахе «Енисей» и журнале «Наш современник» — № 6, 1989 год.

чем примечателен? А тем, что крестьянский сын. Нужда заставила его идти в Иваново-Вознесенск, наниматься на обувную фабрику, в башмачный цех. Когда малоземельные крестьяне из его и других деревень стали добиваться подушных наделов, он примкнул к ним. За это и сослали его в Иркутскую губернию. Чем примечательна Анна? Тем, что последовала за ним. Он батрачил, потом сапожничал. Она вела дом, растила детей — трех девочек и мальчика. Это мои сестры и я сам, хотя речь в романе шла вовсе не о Тихменевых, а о Малыгиных. Такой прием позволял мне идти за жизнью, но не копировать ее. Ведь у литературы свои законы. Впрочем, вы это и без меня знаете... Так вот, вернемся к Малыгину-младшему. Он окончил Шарагульскую церковно-приходскую школу, Нижнеудинское городское училище, Иркутскую учительскую семинарию, до шестнадцатого года учительствовал в забайкальских селах, а затем его призвали на военную службу. Сами понимаете, в царскую армию, — тут Тихменев чуть заметно улыбнулся. — А дальше начинается вторая и третья части. В чем их глубина? Их глубина в том, что Малыгин, как и я, ускоренно закончил Иркутское пехотное училище, получил звание подпоручика. И понесло его по фронтам сначала русско-германской, затем гражданской войны. Под Ригой он получил тяжелое ранение в грудь. Чудом выжил. И для чего? Для того, чтобы в восемнадцатом, после Чехословацкого мятежа, насильно оказаться в колчаковской армии. Через год — вместе с 55-м сибирским стрелковым полком — перешел на сторону красных партизан, а когда подошли регулярные части Пятой армии, стал заместителем начальника политотдела по политпросветчасти Канского гарнизона, позже — секретарем газеты «Красная звезда».

— И там вы встретились с Зазубриным? — поняв, что Федор Иванович рассказывает свою биографию, спросили мы.

— С Зубцовым, если быть точным, — поправил он. — Зазубриным он стал в двадцать первом году, когда в Иркутске издали книжкой его «Два мира».

— Вы показывали свой роман Владимиру Яковлевичу?

— Показывал. Но позже. Тогда у нас отношения еще только завязывались. Он был на пять лет младше меня. Тоже окончил военное училище и некоторое время по мобилизации служил командиром учебной команды в колчаковских войсках. Эту команду он затем привел к тасеевским партизанам, сдал другому командиру, а сам стал работать в партизанской газете. Когда мы с ним встретились, он был уже опытным автором. И не только автором, но и корректором, и метранпажем, и выпускающим. А я всему еще только учился. Скорее всего от неуверенности я и подписал свою первую статью псевдонимом Малыгин. Хотелось посмотреть, как отнесутся к ней в редакции. Зубцов сразу разгадал, кто стоит за Малыгиным, и пришел поговорить. Он был высокого роста, чернородый, со смоляной шевелюрой, а лицо белое, как мел. Это от тифа, который чудом не свел его в могилу. Мы с ним много беседовали на разные темы. А потом наши пути разошлись. Я стал

работать по своей учительской специальности — вел обществоведение в школах второй ступени. А Зубцов приобрел не только газетное, но и писательское имя. Как-то он прочитал местной интеллигенции главы из готовящегося к печати романа «Два мира». Чтение произвело на меня сильное впечатление. Вероятно, все вместе взятое и определило мое желание тоже писать, мой замысел, и даже подсказало фамилию главных героев — Мальгины. Я горячо взялся за дело. Просиживал ночи напролет. Временами писалось легко, но потом наступали периоды бессилия... И вот как-то (а произошло это уже в двадцать третьем году), получив приглашение на должность секретаря «Сибирских огней», Зазубрин дней на десять приехал в Канск. Там у него находились жена, Варя Теряева, и ребенок. Узнав об этом, я отправился к Теряевым, в тот самый дом, где когда-то спасали Зазубрина от тифа. Мы уединились в дальней комнате, и я зачитал ему отдельные места из своего романа. Мне нужна была поддержка сведущего товарища. И я ее получил. Правда, критику тоже получил, и серьезнейшую. Но главное — ободряющий совет: писать! Переработав рукопись, я послал ее в «Сибирские огни». Зазубрин ответил от лица редакции, что надо сделать ряд купюр, переделок и сокращений, а пока просил прислать еще что-нибудь. И вот радость: в первом номере за двадцать четвертый год появился мой рассказ «Милёночек», во втором — повесть «Сам по себе». Так я и приобщился к литературе...

Федор Иванович надолго умолк, уйдя в прошлое. Мы терпеливо ждали, когда он вернется.

— Когда о моих напечатанных вещах стали появляться отзывы, — продолжал Тихменев, — Зазубрин считал своим долгом присылать мне газетные вырезки и даже целиком книжку журнала «Звезда». Присылки эти сопровождал фразами: «Вас заметили. Пишите!» Вообще он любил отыскивать и одобрять литературно одаренных людей. Среди них были Сейфуллина, Караваева, Коптелов, Каргаполов и другие. В двадцать пятом году состоялся первый съезд сотрудников журнала «Сибирские огни». Зазубрин решил собрать всех, на кого он обратил внимание. Насколько я теперь понимаю, ему был важен не только состав участников, но и их количество. И надо же такому случиться, что я приехать не смог. В то время в Канском окружном отделе народного образования, где я заведовал отделом социального воспитания, сложилась конфликтная ситуация, и требовалось мое присутствие. Я написал об этом Зазубрину. Он мне не ответил. В наших отношениях произошло некоторое охлаждение. А тут меня перевели в Томск — заведовать местным отделением Сибкрайиздата. Навалились новые хлопоты, ибо предстояло заняться не только Книгоцентром, но и выявлением среди студенчества литературно-талантливой молодежи. Собственные литературные дела пришлось несколько отложить, хотя работы над романом я не прекращал. По прошествии времени я стал яснее видеть свои ошибки и по его структуре, и по языку, психологическим обрисовкам. Возникли новые линии. Например, я ввел образ человека,

которого знал еще по учебе в Иркутской учительской семинарии, истинного коммуниста Верютина. Прототипом его послужил Мартемьян Никитич Рютин. Мы с ним одновременно стали прапорщиками, но я склонялся к политике эсеров, а он был твердым большевиком и скоро выдвинулся в командующие войсками Иркутского военного округа, затем стал председателем губкома партии. Кроме военных талантов, был у него и литературный — Мартемьян писал стихи, публицистику и чем-то напоминал Зазубрина. Кстати, одно время Рютин работал в Томске¹, печатался в местных газетах, организовал «Марксистский дискуссионный клуб». Под его влиянием и под воздействием колчаковщины мой Малыгин принялся изучать марксистскую литературу... Все эти дополнения я ввел уже в двадцать седьмому году — и опять не без влияния Зазубрина. Он пригласил меня отпраздновать пятилетие «Сибирских огней». После торжественной части у него в доме состоялась редакционная вечеринка. Тут мы и объяснились по поводу моей неявки на съезд двухлетней давности. А потом Зазубрин спросил, как движется мой роман, в чем затруднения. Узнав новые замыслы, горячо поддержал и даже принялся развивать. Очень торопил с окончанием работы, обещал широкую улицу в «Сибирских огнях»... Но вскоре его исключили из партии — за якобы провокационную деятельность в прошлом. Он уехал на маленькую станцию под Ленинградом и оттуда отправил мне открытку с просьбой продолжать начатое. Попросил также выслать ряд книг томского ботаника Василия Васильевича Сапожникова — для работы над новым романом «Горы». Я тотчас достал у жены Сапожникова авторский экземпляр «Путешествия по Алтаю» и выслал ему... В тридцатом году на краевом писательском съезде меня избрали членом Правления Сибирского отдела Всероссийского Союза советских писателей. Это означало политическое доверие, хотя я не был членом партии. В то время в стране шла чистка. Исключили из партии не только Зазубрина, но и Рютина, и других честных людей, о которых я писал в своем романе. Начались аресты... Так вот и оказалась моя рукопись не созвучной со временем, ее арестовали вместе со мной, но мне-то посчастливилось выжить...

«Обвинилка»

При Федоре Ивановиче мы ничего не записывали, чтобы не отвлекать и не тревожить его. За свою жизнь он написал столько объяснений, заявлений, показаний, что один вид бумаги настраивал его на протокольный лад. Вероятно, поэтому нам не удалось воспроизвести по памяти все особенности его речи, ее напряженную

¹ Июль — ноябрь 1921 года, М.Н.Рютин — заведующий орготделом, заместитель секретаря Томского губкома партии.

сосредоточенность и несколько старомодную, но такую неповторимо милую учтивость. Он говорил не только словами, но и глазами, и неподвижно сцепленными руками. Чуть приоткрывшись, снова замыкался, тактично переводил разговор на другое. Но в каждой беседе промелькивала какая-то новая деталь. Дополняя одна другую, они складывались в более или менее общую картину. Однако в ней не хватало существенных звеньев — и прежде всего подробности его ареста и предъявленных ему обвинений. Сам Федор Иванович касался этой темы с каким-то внутренним сопротивлением, с болью. И лишь в 1990 году, получив доступ к двухтомному «Делу № 392», мы поняли причину этого: до конца дней своих Тихменев мучился самооговором, к которому его принудили следователи Смирнов и Юхкам.

Итак, что же произошло?

11 октября 1932 года в «Правде» было опубликовано постановление Президиума ЦКК ВКП(б) о «членах и пособниках контрреволюционной группы Рютина — Иванова — Галкина, пытавшихся создать подпольным путем под обманным флагом «марксизма-ленинизма» буржуазную кулацкую организацию по восстановлению в СССР капитализма и, в частности, кулачества».

Федор Иванович имел неосторожность в доверительных беседах с заведующим канцелярским отделом Томского Книгоцентра В.И. Колосовым и другими своими сотрудниками говорить о «раскрестьянивании» русского мужика, ссылаясь при этом на мнение своего близкого знакомого Рютина. Скорее всего, именно близость Тихменева к Зазубрину и Рютину и привлекла к нему внимание сотрудников Томского ОГПУ. Во всяком случае, уже на одном из первых допросов (а Тихменев был арестован в ночь на 4 мая 1933 года) ему предложили собственноручно изложить историю их взаимоотношений. И вот мы читаем этот пространный документ, написанный ровным каллиграфическим почерком, и узнаем немало нового для себя:

«...Выписавшись из госпиталя, я пошел к Рютину в его служебный кабинет. Это было перед концом занятий. Он задержал меня и повел в казарменное общежитие, где он жил. Вечером я ушел от него. На другой день по его бумажке получил от воинского начальника документ, что я, бывший офицер, направляюсь в одиночном порядке для лечения в Томскую клинику. Это было в марте 1918 года... В 1920 году моя сестра, Кузьменко, сообщила мне, что Рютин пробрался через семеновцев в Иркутск. Я написал по указанному адресу, поздравил Рютина с успехом, сообщил, что активно изучаю марксистскую литературу, так как колчаковщина научила меня понимать большевиков, дала возможность активно и сознательно работать под их руководством. В ответ получил открытку, видимо, брошенную Рютиным проездом в Москву через Канск в станционный ящик. Там было 2–3 фразы, в том числе касающиеся моего перевоспитания: «давно пора». Помню, что эта фраза при общей скупости слов показалась мне пренебрежительно-иронической.

Больше я ничего не писал Рютину. «Слышал» о нем только по тем данным, что были в газете «Правда», и не имею представления, где он находится...»

Но мы-то помним, что, рассказывая о Рютине, Федор Иванович упоминал не только о переписке с ним, но и о посланце Мартемьяна Никитича, который дважды останавливался у него в конце двадцатых годов.

Однако знакомство с Рютиним и Зазубриным само по себе еще не криминал. Это отлично понимали следователи Смирнов и Юхам. О том, как лихорадочно искали они «отягчающие факты», говорит хотя бы то обстоятельство, что лишь через тринадцать дней они догадались сделать обыск в его служебном кабинете. И вот появились новые «улики»: «1) пиш. машинка фирмы «Монах», в инвентарной описи (за № ММ 00475) не числящаяся. Тихменев ее часто уносил на квартиру; 2) В письменном столе (доступ открыт для всех) хранилась секретная переписка в разбросанном виде; в этом же кабинете заделанный в стену несгораемый шкаф, где должна храниться секретная переписка, но там чай, электрические лампочки, сапоги, плакаты, лозунги и проч. Взяты: а) секретный циркуляр ПП ОГПУ по ЗСК за № 011 от 13/У-30 г.; б) секретное отношение ОГИЗа за № 685 от 22/П-33; в) угловой штамп б/Томского отделения Сибирского Союза писателей; г) до 30 экз. литературы, как-то: сочинения Троцкого, Сырцов «Пройденный этап и наши задачи», Деборин «Последнее слово ревизионизма» и т.д. Кроме того, отобраны 53 экз. беллетристики (новинки); д) разная личная переписка и адреса Тихменева (1 папка)».

А дома у Тихменева по улице Октябрьской № 6 (тоже с явным запозданием) обнаружены книги Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Маркова и других авторов (всего 144 экземпляра), которые давно следовало уничтожить согласно циркуляру Главлита.

Еще одно отягчающее обстоятельство: Тихменев в прошлом белый офицер, сочувствовал эсерам. И помощников набрал под стать себе: заведующий экспедицией и отделом подписки Томского Книгоцентра ОГИЗа В.Э.Вильчевский — бывший белый офицер, зав. транспортным отделом В.И. Миллер — бывший доброволец колчаковской армии, упоминавшийся уже В.И. Колосов — служил у Керенского, В.А. Феофанов, помощник заведующего художественным магазином Книгоцентра — торговец с большим дореволюционным стажем (27 лет проработал у П.И.Макушина), В.М. Пospelов — сын диакона, Ф.Н. Анашин, инструктор-массовик Книгоцентра, был писарем и каптенармусом в армии Колчака, зять бывшего графа Мясильского...

В 1932 году, в нарушение распоряжения Томского горсовета, Тихменев не представил в административный отдел списка на военнообязанных, за что условно был осужден на один год принудительных работ. Теперь это ему поставили в вину как укрывательство «классово чуждых элементов». Сама логика событий, атмосфера

того времени подсказывала следователям, каким образом они могут отличиться. Ну, конечно, раскрыв в «умственном центре Сибири» группу заговорщиков из числа «бывших».

И они с энтузиазмом принялись за дело. Запугиванием, «особым» тюремным режимом, обещаниями «учесть чистосердечное признание раскаявшихся» они выбили нужные им показания сначала из журналиста, члена Союза печатников редакции «Красное знамя» А.И. Огурешникова (бывший белый офицер), потом из Вильчевского, Колосова, Пospelова, других работников книжной торговли и предъявили их показания главному обвиняемому. В этих показаниях говорилось о том, что все они завербованы в контрреволюционную организацию Тихменевым, под его руководством — осознанно — срывали торгово-финансовый план, «затоваривались», прятали политическую литературу, продавали нелегальные издания, готовили свержение Советской власти, вели всевозможную вредительскую деятельность.

Запугивали, применяли недозволенные приемы следствия и к Тихменеву. В конце концов принудили и его к самооговору. Однако его многостраничные показания обличают не столько его самого и его «группу», сколько те вопиющие беспорядки, которые лихорадили страну уже в двадцатые и особенно в тридцатые годы.

«Ряд действий всей системы ОГИЗа, — с горечью констатировал Федор Иванович, — в целом можно квалифицировать как действия явно вредительского характера... В результате на местах хронически ощущался острый голод на первоочередные насущные книги, непосредственно связанные с индустриализацией страны, с задачей быстрой подготовки инженерно-технических и прочих кадров, и одновременно излишек книг третьестепенного значения, которые на длительное время оседали на книжных полках... Почти совершенно прекратились однотомные издания классиков и не покрывали даже 10% спроса... По вопросам включения тех или иных названий в тематические планы и по вопросам тиражирования в центре шла какая-то борьба... Устойчивость политики «голодных тиражей» на основную книгу иллюстрировал даже Партиздат. В 1931 году, и особенно в 1932-м, рядовой партучетчик не имел возможности купить нужные книги в рознице, и студент, и ассистент, и парттысячник, и даже преподаватель той самой партийной дисциплины, по которой учебник издан. Так незначительны тиражи, что шло распределение по рядам горкомов и райкомов партии... Много вредительских актов и в секторе подписных и периодических изданий. Обычное явление — аннулирование подписки, когда подписка уже проведена. В результате — надо возвращать деньги подписчикам, нести крупные убытки, делать невыполнимую работу...»

Сегодня слова Тихменева о вредительстве могут показаться вынужденно-неискренними, а потому не заслуживающими внимания. Однако и пятьдесят лет спустя он говорил нам, что вредительство — не досужая выдумка тогдашних функционеров, а страшная

реальность их собственных провокационных действий на различных уровнях власти и управления. Формируя образ «врага народа», они сами вредили молодому социалистическому государству чем только могли, а потом изобличали друг друга, приносили в жертву молоду им же запущенной «обвинилки» миллионы ни в чем не повинных людей.

Протоколы допросов обрисовывают систему взглядов Тихменева и его сослуживцев. Необходимо, считали они, демократизировать существующую власть, переконструировать Советы так, чтобы в них принимало участие всё население; восстановить в правах «лишенцев» (лишенных избирательных прав), вернуть на прежние места раскулаченных, отдать или возместить им движимое и недвижимое имущество; легализовать народнические группы, крестьянские союзы, партии; МТС и совхозы ликвидировать, а более рентабельные оставить в руках государства; имущество же их передать сельским общинам, развивать мелкую, кустарную и другие виды промышленности...

Естественно, не прошла мимо внимания следователей и деятельность Тихменева как собирателя литературных сил Томска. Им удалось получить на него такие показания: «Контрреволюционная ячейка писателей Томска связана с контрреволюционными писателями Новосибирска. Тихменев ее систематически поддерживал, предоставляя ... неограниченные средства для закупки запрещенной литературы, снабжая других ею».

Но Тихменеву удалось увести разговор от основной группы томских литераторов на безымянную «молодежь в числе нескольких лиц», о которых ему известно лишь то, что они встречаются где-то на улице Никитина — на своих «никитинских субботниках». Судя по материалам следствия, эта линия так и повисла в воздухе, осталась неразработанной. А ведь могли пострадать многие из окружавших Федора Ивановича в те самые годы, о которых он впоследствии вспоминал:

«Если посмотреть периодические журналы первых лет Советской власти, можно встретить удивительную поэтическую продукцию. «До Египта раскорячу ноги!» — объявлял один поэт. «Господи, отелись!» — зывал другой. Встречались так называемые «заумные стихи». Я помню такие:

*Що да що,
Да не нащоками,
Да впроползь брющиной ща.
Жри хувырдовыми щоками!
Раздобырдивай леща!*

Сибирские литературные группировки, к их чести, не впадали в «заумь». Недаром сибиряки всегда считались строгими реалистами. Тем не менее, у нас тоже существовали литературные течения, группировки, со своими «платформами». До тридцатого года

действовала СибАПП (Сибирская ассоциация пролетарских писателей). В Томске было отделение СибАПП. Сибирский Союз писателей, Пролеткульт, левацкая группа, издававшая в Новосибирске журнал «Настоящее», — каждая из этих групп по своему общественно-политическому облику не была однородной.

Группа «настоященцев» была агрессивно крикливой. Она ничто отрицала роль художественной литературы, «уничтожала» Панферова, Либединского, Фадеева и закончила тем, что объявила Алексея Максимовича Горького ... непролетарским писателем. Деятельность этой группировки ощутимо задержала нормальный рост сибирской художественной литературы. Томские литераторы не поддерживали «настоященцев». В ответ на нападки на Горького мы выступили в печати в его защиту.

Собирались любители прозы и поэзии в актовом зале университета, в Доме офицеров, в областном музее. А печататься было совсем нигде. Лишь изредка нас пускала на свои страницы местная газета «Красное знамя». Поэтому стихи, в основном, читались вслух на литературных собраниях, куда вход был открыт для всех желающих. Произведения, в которых были замечены «искры дарования», я направлял в журнал «Сибирские огни». Раньше всех в этом журнале начал печататься Лев Черноморцев (1927). Затем Евгений Березницкий (1929), он погиб на фронте в годы войны... Позднее — Игнатий Рождественский, поэт, публицист, литературная известность которого давно перешагнула пределы Сибири (1930). Прозаик Юрий Бессонов, автор известного романа «Восстание», в 1930-м выступил с рассказом «Несчастливый паводок», а Л. Шмаков напечатал в «Сибирских огнях» (1927, № 5) свой рассказ «Экскурсант Шукшин».

В памяти сохранились имена людей, чье творчество начиналось в Томске. Это поэтесса Елизавета Стюарт, Давид Лившиц, поэт, проявивший себя позже и как драматург... Этот перечень можно было продолжить. Десятки имен талантливой молодежи украшают страницы литературной жизни нашего города. Своим творчеством они развеяли ошибочное мнение о том, что в 20—30-е годы Томск в литературном отношении был незаметным городом...

Перечитывая сегодня эти строки Тихменева, невольно ловишь себя на мысли, что время двинулось вспять — так переключается литературная обстановка двадцатых годов прошлого столетия с нынешней. Союз писателей, созданный в 1934 году, перестал быть профессиональным, распался на несколько самостоятельных Союзов. В Томске их представляют две писательские организации. Вновь появились литературные течения и группировки, печатается откровенная «заумь», в моде формотворческие изыски, «сексуальный реализм», которым увлекаются не только молодые авторы, но и так называемые «похотливые старички от литературы». И это понятно: оставшись без государственной поддержки, литературное поле, как и любое другое, стремительно начинает зарастать сорняками. Но вопреки всему талантливые авторы, как и прежде,

появляются. Томск остается литературно-заметным городом Сибири, правда, уже в иных, более суженных рамках.

Однако, вернемся к «делу» Тихменева и его «группы». Следствие по нему тянулось полтора месяца. Судебная Тройка Западно-Сибирского края приговорила Федора Ивановича к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. «Согласно наряду ГУЛАГа ОГПУ № 785 от 2 июля 1933 г.» вместе с Анашиным, Вильчевским, Миллером, Огурешниковым и другими он был выслан в БамЛАГ...

Лишь в июле 1955 года, после письма Лидии Михайловны Тихменевой Председателю Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову, дело ее мужа и других осужденных будет извлечено из архивов КГБ и пересмотрено. В «Заключении» по нему будет сказано: «... Данные следствия 1930 года не соответствуют действительности. Они целиком и полностью вымышлены и написаны обвиняемыми в результате угроз и принуждения со стороны работников органов ОГПУ... Арест необоснован».

Но до этого еще предстояло дожить.

В зонах принуждения

Вначале Федору Ивановичу повезло: начальник Урульгинского отделения строительства Байкало-Амурской железной дороги, углядев в его сопроводительных документах строчку о том, что до ареста Тихменев заведовал томским Книгоцентром, распорядился отрядить его в счетоводы финансовой части. Это спасло Тихменева от верной гибели на первых порах, ведь более одного-двух зимних сезонов на путеукладке даже самые выносливые «зэки» не выдерживали.

Через год ему вновь повезло. Узнав, что он когда-то секретарил в «Красной звезде», начальство поставило Тихменева техническим редактором лагерной газеты, а еще через год «повысило» до инспектора культурно-воспитательной части отделения, располагавшегося на станции Облучье. Тогда-то и сказал ему сосед по нарам, бывший священник: «Готовьтесь, Федор Иванович, в настоящую преисподнюю. Никого из нас, видать, не минет чаща сия».

И не ошибся. В 1936 году их обоих этапировали в Северо-Восточные лагеря, иначе говоря, на Колыму. И сразу «опустили» в шахту — откатчиками вагонеток. Через несколько недель священник умер от истощения и пеллагры. А Тихменев выжил...

Именно тому времени посвящен документальный рассказ-зарисовка «Приземленный человек». Мы помним, как трудно писал его Федор Иванович. Распухшие от ревматизма пальцы слушались плохо; он подолгу не мог вставить ученическое перо № 86 в гнездышко... Но главное — он сомневался, сможет ли снова хоть что-нибудь написать — без оглядки на цензуру, правдиво, интересно.

Вот что у него получилось.

«Наш лагерный участок глубоко осел в горах. Небо из него увидишь, только задрав голову: оно высоко-высоко над сопками. Сопки скалистые, голые. Место кругом, в общем, дикое. По хребту гор очень часто степенно, не торопясь, проходят дикие олени, иногда один или два. Остановятся, вытянутся, окаменеют на фоне неба и долго смотрят в лощину на суетливых людей. Хочется тогда спросить: почему застыли и стоят? Может быть, они пережевывают жвачку и дремлют под солнцем, полузакрыв глаза? А, может быть, и в самом деле их интересуют люди, которыми уже мало кто интересуется?»

Людей в лагере немного, не более трехсот. Среди них человек двенадцать — вохровцы, человек пять-шесть — вольные, остальные — заключенные.

Основное наше производство — добыча оловянной руды из недр ближайших гор. Мы посменно взрываем и вывозим ее на свет — и днем, и ночью. Самая пузатая ближняя гора уже насквозь проколота горизонтально на разных высотах узенькими, щербатыми штольнями. Рудник старый, истощенный; геологи то и дело теряют жилу и потом долго ищут ее в стенах, попятившись назад.

В самой длинной штольне метрах в двухстах от входа через какие-то трещины в пластах породы просочилась с потолка вода. Она, стекая по каменной стене, тотчас застывает. В сосулистом углу установили бочку. Вода беспрерывно капает в нее сотнями подвижных звонких капель. Когда переполнится, вода мостит ледяные поперечные барьеры на рельсах, преграждая путь вагонеткам. Сменный мастер увидел, сморщился.

— Экая похабная тут срамота! — коротко сказал он и длинно выругался. — Куда ты только смотришь, цыганская твоя душа! Сейчас же поставь тут доходягу — пусть вывозит, — приказал бригадир.

Бригадир, молодой вертлявый цыган, бывший карманник, убежал из штольни на-гора, отвинтил там у бросовой вагонетки короб, сбросил его в сторону, а на низенькой тележке поместил лежачий объемистый бочонок. Получилась водовозка.

— Найди котелок и бегай за этим автомобилем на цирлах, — сказал он Дмитрию. — И чтоб сухо было! Понял?

Дмитрий всё понял: много ли надо, чтоб понять. Он отыскал черпак, загнал в тупик водовозку и ждет на-гора, когда выскочат на открытую площадку загруженные рудой вагонетки. Их всего шесть.

Вот выбежали-выкатились одна, другая, пятая, шестая. За каждой из них, сдерживая ее, согнувшись, поспешает откатчик. Толстая его шапка, чуть сдвинутая на затылок, пробита, прорвана острыми выступами потолка. Из нее клочьями повылезла и торчит туда-сюда грязная вата. Концы рельс далеко высунулись над пропастью. Откатчик заезжает на выдвинутые концы рельс и опасно открывает у вагонетки переднюю стенку. Вагонетка содрогаются, подпрыгивает, поднимая задние колеса, и изрыгает через железную пасть

шестидесятипудовый груз. Глыбы руды, мелькнув перед полузакрытыми глазами, стремительно проваливаются вниз и вот уже, достигнув где-то там внизу отвала, рокочут, скатываясь по нему в долину и увлекая каменную мелкоту.

Вагонетки разгрузились и снова втягиваются в штольни. Вот штольня глотает последнюю, шестую. Туда же толкает вслед пустую водовозку Дмитрий. Надо быстро перечерпать мятым котелком всю ледяную воду в бочонок и успеть вывезти водовозку на-гора, чтоб не нагнала и не задавила в узком каменном рукаве веселая, иногда и совершенно бесшабашная многопудовая вагонетка: из штольни к выходу сделан уклон, и не каждому откатчику захочется ее задерживать.

Дмитрий поспешно черпает воду, едва поспевая бежит за водовозкой. Выкатившись на площадку, осторожно выезжает на концы рельс, с усилием переворачивает бочку вниз дверцей, так, чтобы вылилась в бездну вся вода. Благополучно вылив воду, Дмитрий с удовлетворением оглядывается и загоняет водовозку в тупичок. Теперь он будет отдыхать, пережидая всех откатчиков.

А пережидать приятно.

Поэтична колымская ночь! Размашиста, плакатно-проста ее окраска. Чем-то невесомым, густо-синим заполнено безоблачное небо. Чуть раскачиваясь и вздрагивая, то ли повисли из синевы, то ли плавают в ней бесчисленные звезды. На вершинах гор, ушедших в синеву, загадочно светятся чем-то таинственным, значительным и волшебным безупречно белые снега. Редко где увидит глаз ночную колымскую тень: не от чего падать на снег теням. Тени только от столбов электролинии. Они густо-густо черны, почти осязаемы. Оглянет Дмитрий с километровой высоты окружающий мир, и — как бы ни устали его мышцы от длительной работы, как бы ни давила отяжелевшая сырая ватная одежда — сердце обязательно вздрогнет от взлета чувств, от восхищения холодной красотой природы. Непонятная, хотя и привычная, почти всегдашняя грусть еще теснее охватит сердце.

Так одна за другой мелькали длинные колымские ночи. Уже ловчее справлялись руки с водовозкой, все автоматичней становились несложные движения.

Но как-то в одну из смен погасли в штольнях лампочки. Выкатили руду откатчики и задержались на-гора.

— Скоро ли в барак, ребята? Скоро ли рассвет?

— Где Кичиги в небе? Кичиги скажут...

Начали искать Кичиги, заспорили о звездах: где, которая... И тут вставил слово обычно молчаливый Дмитрий. Товарищи притихли, вслушались, и что-то встрепелось в них... Водовоз почувствовал этот душевный трепет, воодушевился, заговорил вдруг о галактике, о космосе, о невероятных открытиях и вероятных чудесах счастливейшего завтра... Работяги впитывали, утоляя жажду. Небо вдруг раздвинулось в их представлении до необозримой широты, бесконечность мира уже стесняла дыхание, кружила

голову. Непонятно почему вдруг всплыли в сознании не вполне охватываемые мысли о ценности человеческой жизни, о величии красоты...

Дали свет.

Сотоварищи с удивлением оглядели Дмитрия: они впервые увидели его сегодня.

— Гляди-ка ты, — поднимая с земли ватные рукавицы, сказал один. — Да ты вон какой герой: можешь лекции читать! Знаешь-знаешь! Много знаешь!

— Чего там «знаешь-знаешь», — досадливо возразил другой. — Человек душой всё чувствует, широко захватывает — вот что главное.

Третьим отозвался бригадир:

— Ге! Да я ж давно то знал! То человек только с фасаду такой плюгавый да мозглявенький. А попробуй-ка отковырни у него внутри...

Вагонетки покатались в штольню. И тотчас все забыли и про небо, и про его величие, про бесконечность и красоту.

Сзади всех торопливо покатила в штольню свою кустарную водовозку Дмитрий Юрьевич Загул»¹.

Имя Дмитрия Загула, как и имя Федора Тихменева, мало что говорит современному читателю, зато оно хорошо было известно на Украине в двадцатые годы. Автор литературоведческих и стихотворных книг «Поэтика» (1923), «Наш день» (1925), «Мотивы», «Кое-что о балладе» (1927), переводчик Гете, Гейне, Шиллера, Байрона, Бальмонта, Блока, Маяковского на украинский язык, исследователь творчества Шевченко и других украинских писателей, Загул был осужден «за посягание на самостоятельность украинцев», и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Так вот и встретились два писателя, русский и украинский, так и подружились. Вместе ждали освобождения, считали сначала месяцы, потом недели, дни...

И вот наступил май 1943 года. Им объявили решение, принятое тут же, на Ухтинском золоторудном комбинате: Тихменева до конца войны «задержать вольнонаемным», Загула — оставить в лагере «на дополнительный срок». И то, и другое означало новый виток мучений.



¹ В 1989 году преподаватель Черновицкого университета, кандидат филологических наук С.В. Делавурак перевел этот рассказ на украинский язык и поместил в областной газете «Молодой буковинец» (литературно-художественный выпуск № 2).

Через три месяца Тихменеву сообщили, что его друг умер — не выдержало сердце, и передали на память такую же, как у Федора Ивановича, значок-эмальку «Ударник второй колеи».

Вторая колея... Оказывается, так зашифровался БамЛАГ.

Лишь в 1947 году вернулся Тихменев в Томск. Пообыкнув немного, устроился учетчиком-бригадиром в подсобное хозяйство политехникума. Но годы лишений, голода, физических перегрузок сделали свое: прямо с участка его увезли в больницу. Потребовалась сложная операция.

Он возвращался к жизни медленно, упрямо. Чтобы не быть «иждивенцем» (его слово), пошел работать счетоводом в больничное хозяйство туберкулезного детского санатория «Городок». Кое-как ожил, немного окреп. А 30 марта 1950 года его вновь арестовали — по тому же самому «делу»! Правда, теперь оно именовалось «Книжные дельцы».

Невозможно без содрогания читать аккуратные пометки оперуполномоченного 5-го отдела управления МГБ Томской области Загрядского или капитана Пришельцева, которые дотошно отмечали: «Допрос начат в 13 часов 17 ноября 1950 г. — окончен в 1 час 18 ноября с перерывом с 17 до 21 часов»... В отличие от них, лейтенант Каканов любил допрашивать ночью. Иной раз «собеседования» продолжались по 12-13 часов подряд. Это с шестидесятилетним-то человеком, у которого, согласно медицинской справке, была одышка, боли в груди, плохой слух, дыхание жесткое с коробочным оттенком, сухими хрипами, миокардиосклероз, начинающаяся эмфизема печени, двухсторонняя грыжа...

Следователи добивались одного — чтобы «старик» подтвердил свои показания 1933 года. Но Тихменев их надежд не оправдал. «Винным себя не признаю, — упрямо писал он. — Утверждаю, что в антисоветских организациях я никогда не состоял и вражеской деятельностью не занимался». Но это не помогло. Согласно «директиве МГБ и Прокуратуры СССР № 66/141-сс от 26 октября 1943 г.» он подлежал новой высылке. На этот раз Тихменева отправили в северные глубины Красноярского края на «бессрочное пребывание там без права самовольных отлучек за пределы лесоучастка Пантачет».

«Жизнь в ссылке, — рассказывал Тихменев, — оказалась более тяжелой, чем лагерная. Шестидесятая параллель, жестокие зимы, социальная заброшенность, скудная пища, некондиционная мука для завтраков, хлеб да вода — вся еда. Ограничен и объект работ: лесоповал, обрубка сучьев, весной — молевой сплав до Игарки — вот и весь объект производства... Период продолжительных болезней, подгоняемых возрастом. Близко-близко одинокая беспомощная старость, а ты недосыгаемо далек от чьей-либо человеческой помощи в таком безотрадном одиночестве...»

Лишь в 1955 году Федор Иванович вернулся в Томск: «С беспечной верой в дальнейшее торжество справедливости шагнул я из зоны принуждений в свободную и радостную жизнь...»

В изучающей памяти...

Когда мы познакомились с Федором Ивановичем, жители Канска уже называли его своим Почетным гражданином. В Томске же восстановление доброго имени писателя шло не так быстро. Сначала упоминание о нем появилось на страницах областных газет, затем в книге «Томские писатели» (Западно-Сибирское книжное издательство, 1974).

— Зачем вы извлекаете меня из небытия? — сопротивлялся Тихменев. — Не хочу. Ничего не хочу.

Позже мы узнали: причиной такого настроения послужила книга Леонида Мартынова «Воздушные фрегаты». Федор Иванович прочел ее с жадностью, быстро, хотя читать приходилось с лупой — сильно болели глаза. Найдя о себе упоминание: «маститый томский писатель Тихменев», — чуть не заплакал.

— Мартынов думает, что я давно умер... Иначе он не писал бы так мимоходом, иронически. А ведь у нас с ним были хорошие отношения. Я и сейчас чту его исторические поэмы и «Сказание о Тобольском воеводстве». Очень хороший поэт...

Как могли, мы принялись убеждать его, что он *не так* понял слова Мартынова. А Римма Ивановна Колесникова к месту вспомнила о своей встрече с другим известным писателем-сибиряком Ефимом Пермитиным. Услышав о Тихменеве, Пермитин буквально сорвался с места, заходил по кабинету: «Федор Иванович! Голубчик! Так он жив!».

— Знаете, как он о вас отзывался? — говорила Римма Ивановна. — Он называл вас самым культурным литератором его молодости. Он говорил, что ваша критика была беспощадной, но всегда доброй, поэтому на вас начинающие литераторы не обижались. Они учились у вас не только литературе, но и этике... Еще Ефим Николаевич говорил, что человеческая судьба идет от внутреннего содержания личности. Он был потрясен вашей судьбой, просил передать вам низкий поклон, обещал написать.

— Спасибо, — лицо Федора Ивановича посветлело, сделалось прежним, сосредоточенно-внимательным. — Мне приятно это слышать.

Как-то мы попросили его прийти на встречу с членами литературного объединения «Молодые голоса» при Томском политехническом институте.

— Нет, не пойду, — покачал головой Федор Иванович. — Не имею права. Я потерял свою шарообразность, — и пояснил: — Если в апельсиновой оболочке углублять и расширять незначительные поначалу «ноздри», выемки, то в какой-то момент апельсин может вообще потерять форму шара. Во мне слишком много выемок. Я боюсь, что молодежь это заметит.

— Ну и что?

— А то, что юной неокрепшей душе, как воздух, нужна определенность. Всякая размытость, абсурдность формы и тем более содержания может ей навредить. Я не хочу этого. Во мне еще не всё устоялось.

— Что вы имеете в виду?

— Многое. Ну вот, хотя бы это, — он показал набросок «жалобы-заявления».

Из нее-то мы и взяли слова: «С беспечной верой в дальнейшее торжество справедливости шагнул я из зоны принуждений в свободную и радостную жизнь...»

Пришло время обратиться к этому документу.

«... Но... иллюзии гибнут. Пом. прокурора по спецделам объявил мне, что предъявленные мне в 1933 году обвинения отпали как необоснованные, что я полноправный гражданин СССР, получаю незапятнанный советский паспорт, значусь несудимым, что правосудие позаботилось даже о моей пенсии, учитывая преклонность возраста. Слушая его, я был на вершинах удовлетворения: вот она, справедливость! Но это длилось лишь несколько мгновений: разом и вдруг всё рухнуло, под корень срублена реабилитация. Поднимали из руин меня как гражданина и тут же, забыв об этом, столкнули обратно, как бесправного и беззащитного лагерника. Лишили права на нормальную пенсию, на источник дальнейшего существования, единственный источник в старости в условиях социализма, как это формулируется в Конституции СССР. Моя пенсия — это небрежно завуалированное и в то же время явное наказание (57 руб. 20 коп.). Она не обеспечивает мне материальное благополучие в тяжелые годы старости. Скудные размеры ежедневно, ежечасно проявляются в моем быту, вызывают пытлиное внимание ко мне у чутких и отзывчивых людей, вызывают недоумение, быть может, предполагают во мне ленивого бездельника, завязного тунеядца, поленившегося обеспечить себе сносную пенсию. С болью в сердце переживаю этот позор — результат бездушия чиновников социального обеспечения. Еще больше страдаю от моральной подавленности, вдруг осознавая вопиющую несправедливость ко мне со стороны любимой моей Родины, которой я самоотверженно и бескорыстно служил всю мою жизнь. Пенсия моя — это пожизненное, быть может, самое тягостное наказание. За что?!»

Следует пояснить: пенсия была назначена из расчета заработной платы, получаемой до ареста. До! 22 года работы на Крайнем Севере не принимались в расчет. Таков был закон, и Тихменев протестовал против него.

Не в наших силах оказалось помочь Федору Ивановичу с пенсией — он так и умер, находясь в несогласии и противостоянии с государством, в позиции благородного существа, требующего сатисфакции — по законам чести и совести.

Добивались мы и восстановления его в Союзе писателей. Но... Сибирский отдел Всероссийского Союза писателей, в котором состоял

Тихменев (членский билет № 7), перестал существовать в 1934 году, когда появился Союз советских писателей со своим уставом. Стало быть, всё нужно было начинать сначала: писать и публиковать новые произведения, обсуждать их в местной писательской организации, собирать рекомендации, проходить «чистилище» Приемной комиссии в Москве... Единственное, что удалось, так это приобщить к единовременным пособиям Литфонда, организации, которая в меру своих возможностей осуществляла какую-никакую материальную помощь бедствующим российским литераторам.

Тихменев вновь «провалился между законами» (его выражение), попал в исторические подвижки времени. (А разве не так же примерно обстоят дела с пенсией у большинства писателей нынче?)

Третей его «ссылкой» — на этот раз добровольной — стало возвращение Федора Ивановича к писательской работе. Сохранились рукописи его нескольких повестей. По многочисленным исправлениям, пропускам и вставкам, по бумаге (чаще всего он писал на листах из школьных тетрадей), по разному цвету чернил и карандашей и такому же «разному» почерку можно представить, как трудно работалось ему, с какими перерывами и сомнениями. Однажды он смущенно обмолвился, что эта ссылка — его самая любимая. Она дает возможность увидеть себя и других со стороны, проникнуть в суть событий, вольным или невольным участником которых ему суждено было стать, осмыслить их с высоты прожитых лет, замечая не только изъяны жизни, но и ее красоту, воплощенную в дружбе, любви, служении добру и справедливости. Еще он говорил, что такая огромная страна, как Советский Союз, подобна человеку, который подвержен болезням роста. Вырастая, он отбрасывает негодное, накапливает позитивное. Вот и Советский Союз постоянно совершенствуется. Главное его достоинство — государственность по типу семейных отношений, а не по модели алчного индивидуализма, правильность нравственных установок, стремление к гармонии национальных отношений. Но и перекосов на этом пути не следует забывать, и несправедливых репрессий.

Временам репрессий посвящена его повесть «Через непонятное». В надежде заинтересовать ею главного редактора журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского Тихменев в январе 1965 года написал:

«Не мне судить о ее литературно-художественных качествах. Искренне полагаю, что Дзяков и тем более Солженицын как художники много одареннее меня. Но верю и в свои преимущества. Я не поперек пересекаю лагерную эпопею через какие-то узловые пункты с их маленькими гнетущими площадками, я прохожу ее вдоль с момента зарождения идеи «перековки» до дня смерти Сталина. Истмат утверждает, что в генезисе истина ощутимее, нагляднее, в работе методами показа это тоже очень облегчает автору его трудную задачу без особых творческих усилий: светлее, жизнерадостнее фон, доступнее обобщения».

До смерти Сталина довести свое повествование Федору Ивановичу Тихменеву, увы, не удалось, но мотивы «перековки» в нем действительно прозвучали, причем весьма недвусмысленно и убедительно. Конечно, речь идет не о перековке так называемых «врагов народа», угодивших в пекло ГУЛАГа по 58-й с подпунктами статьи, а скорее об их влиянии на уголовников, в пику «политическим» именовавших себя «друзьями народа» и отбывавших заслуженное наказание в тех же лагерях.

Сюжет повести внешне прост: на этапе в тюремном вагоне судьба сводит украинского поэта Дмитра Загула, студента-медика Алексея Каблукова, физрука техникума Воронина из Томска и некоторых других политических ссыльных с уголовной шпаной, которой верховодит вор по прозвищу Кобра. «Политические» загоняют Кобру и его свору под нары, зато на строительстве второй колеи на Урульганском участке БамЛАГа Транссибирской железнодорожной магистрали Кобра на время становится бригадиром и мстит им за дорожное унижение. Но власть его оказывается призрачной, недолгой. И происходит это прежде всего потому, что он противник любого производительного труда.

Иное дело «враги народа». Они в большинстве своем без труда себя не мыслят, даже и в том случае, если труд этот рабский, принудительно-каторжный. Подлинность описываемых событий чувствуется во всем: в живом, внешне неприязнательном языке повести, который органично чередуется с документальным, в точных скупых деталях, в умении несколькими штрихами нарисовать запоминающийся образ, в тонком природном юморе, пронизывающем невыразимо горькие страницы об исковерканной «непонятным» произволом жизни. Вот это и есть — «пересечь лагерную эпопею *вдоль*», зафиксировав художественными средствами самый первый ее этап — этап, на котором «враги народа» еще старались представить себя не сосланными, а мобилизованными на «великие стройки первых пятилеток». Насколько мы знаем, других, подобных произведений, на «лагерную тему», рассматривающих ее под таким углом зрения, в современной литературе нет.

«Я смогу прислать ее (рукопись) вам в марте-апреле этого года... — заверял Твардовского Тихменев, у которого в январе 1965-го было «отшлифовано» 120 страниц из 300. — Столько времени потребуется мне для ее внешней подготовки, чтобы она стала удобочитаемой».

Но «лимит на лагерную тему» даже у такого влиятельного человека, как Твардовский, уже иссяк. Почувствовав это, Тихменев отложил рукопись и больше к ней не возвращался. А нам он рассказывал, что во второй книге романа он намеревается показать, как во время войны, желая помочь Родине победить фашистов, на своем тайном сходе политзаключенные создали бригаду ударников. Это был их «второй фронт» — с победами и поражениями, с невосполнимыми потерями. Но дальше замысла и отдельных набросков дело не двинулось — жизненные силы уходили...

Уже в больнице Тихменев шутил: «Я и через десять лет буду таким же. Законсервировался — вечная мерзлота помогает...»

Его не стало 14 октября 1982 года — отказали почки.

А накануне мы говорили с ним об участии живущих в сибирской провинции писателей, которые «подобно деревьям на севере, редко достигают полного роста», о «вечной мерзлоте», убивающей всё живое, но и способной сохранить даже мамонтов... Обсуждали чеховское мнение о том, что в литературе маленькие чины так же необходимы, как и в боеспособной армии. И что сибирская литература ждет своего расцвета, как утверждал Г.Н. Потанин.

В то время еще существовало Томское книжное издательство. Идею издания однотомника Тихменева оно горячо поддержало. Подготовить к публикации повесть «Через непонятное» взялся профессор математики, писатель, сам сын репрессированного, Лев Федорович Пичурин. Трудно переоценить ту огромную работу, которую он проделал. Лев Федорович осуществил не только «внешнюю подготовку» рукописи, но и «внутреннюю», «отшлифовав» вторую половину текста. Он же ввел в повествование стихи Дмитра Загула на украинском языке, включил в текст тезисные заметки Федора Ивановича, устранил повторы, неточности в датах, оговорки, сделал необходимые комментарии. Но тут грянула «перестройка». Издательства, чтобы не разориться, бросились в коммерцию, стали всеядны, неразборчивы, необязательны. Но это их не спасло. Большинство на плаву не удержалось, в том числе и Томское книжное.

Лишь в 2003 году Л.Ф. Пичурину, к тому времени бессменному депутату Томской городской думы, удалось издать многострадальный однотомник Тихменева, символично названного — «Вторая колея». А предисловие к нему написала Римма Ивановна Колесникова.

Кроме заглавной повести составители включили в книгу первый рассказ Тихменева «Милёночек», его воспоминания о Владимире Зазубрине и динамичную, мастерски написанную, злободневную и ныне повесть «Сам по себе», которая так и просится под иной, более точный и емкий заголовок — «Перевертыш». С убийственной иронией рисуется в ней некто Петр Шайкин, прапорщик колчаковской армии, бросивший ее в период поражения. Прикинувшись красным партизаном, большевиком с 1918 года, он решил сделать карьеру советского военспеца. Но переусердствовал. Донос на такого же, как сам, перевертыша Кронына-Ковтуна оказался для него роковым. Вместо повышения по службе он был «вычищен» из Р.К.П. и из «органов», в которые успел пробраться. Однако при этом немного и потерял. «Шайкин женился, обзавелся хозяйством, — подводит черту под его историей автор. — В 22-м перешел из Упродкома в Заготконттору. В 23-м судился за преступления по должности и получил год условного заключения. Тогда же («на жену») открыл торговлишку и не жалеет нисколько об этом. «Свое дело вести — куда спокойнее. И жизнь пшеничнее к тому же», — говорит он».

Будь эта повесть известна всероссийскому читателю более широко, чем ныне, имя Шайкина вполне могло бы стать нарицательным, как, скажем, имена булгаковских героев Швондера и Шарикова. По нашему убеждению, образ Шайкина выписан не менее талантливо...

Так в чем же глубина нашей мысли?

Настоящая историческая личность отличается от прочих своим *последствием*. Федора Ивановича Тихменева мало кто знал в Томске, но все равно его живое присутствие в культурной истории города состоялось. Благодаря ему, и таким, как он, безвестным или именитым, складывался и поддерживался неповторимый «томский климат», «озоновый слой», «культурная оболочка». Эта оболочка порой тоньчает до опасного предела, но не исчезает и, уверены, не исчезнет никогда.

ШКОЛА В ШКОЛЕ

Крут глинистый уступ над затокой Панькова, крепко вцепились в него узластыми, обсохшими на солнце корнями сосны и пихты, своевольный лиственный подлесок. Почти отвесный склон испещрен гнездами стрижей, прорезан лоснящимися от подошв тропинками-спусками. За темной полоской воды открываются взгляду просторные сибирские доли в зеленых клубах таежных переборов, синева, беспредельность.

В старину такие вот уступы красиво и метко именовались гляденями. С них удобно глядеть не только в сегодняшние дали, но и в дали прошлого, вызывать воображением картины будущего.

Немало повидал на своем веку Калтайский глядень. В 1629 году облюбовали его чулымские татары, поставили здесь свои жилища, занялись охотой, рыбной ловлей, скотоводством. В 1704 году по соседству с ними выросли избы русских землепашцев. Но поначалу не замирились соседи друг с другом, затуманила им головы междоусобная вражда. В одной из *весельных здыбок* на затоке замертво упал с лодки казацкий сын Паньков. Так и получил свое имя тупичок Томи.

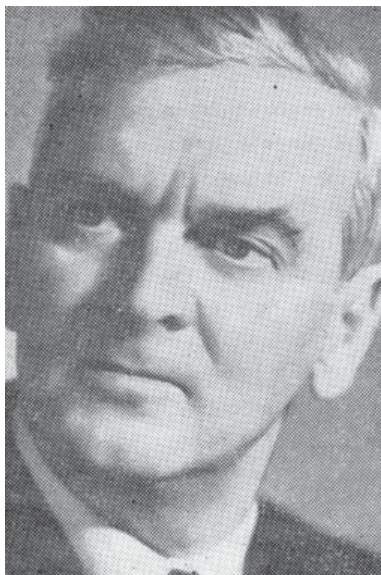
В 1796 году, возвращаясь из Илимского острога, ночевал на постоялом дворе в Калтае А.Н. Радищев. В своих записках отметил он, что существуют здесь на расстоянии версты два самостоятельных селения. Но шло время, и объединились жители этих селений в один поселок. До Томска отсюда по шоссейной дороге рукой подать.

Весной, когда вода в затоке поднимается, обрушиваются пласты глины, обнажая не просто срез Калтайского гляденя, но само быстробегущее время. И открываются взгляду находки удивительные — то кости мамонта, то медные сибирские деньги колыванской чеканки, то поржавевшая утварь «лучших татарских людей». Прежде всего попадались они на глаза калтайским ребятишкам, а те мчались сообщить о них своему любимому учителю, другу и наставнику Леониду Андреевичу Гартунгу.

Учитель шел со своими питомцами на уступ, вместе с ними извлекал из земли необычные свидетельства далекого прошлого и рассказывал, рассказывал... Рассказывал о том, что Калтай в переводе с татарского означает Пестрая гора, что неподалеку от него проходил некогда печально знаменитый кандалный Сибирский тракт, что многотрудным был путь страны, Сибири, родного села к дням сегодняшним, но и славным, и поучительным. Нужно только уметь увидеть необычное в обычном, нужно искать, сравнивать, думать, быть всегда по-хорошему любопытным.

Завороженно внимали дети своему учителю, помогали перенести в кабинет истории (а попросту — в пришкольную «избушку на курьих ножках») бивни и зубы мамонта, заржавевшие кандалы,

штыки, старинные замки, подернутые зеленой пленкой медные деньги «с соболями», гильзы от снарядов и даже шпагу... В избушке всего две комнаты. Одну занимала школьная библиотека, другую — уголок наглядных пособий. Чего только не было в этом необыкновенном уголке! На видном месте помещена увлекательная рукописная книга, повествующая об истории Калтая. Она создана в соавторстве с другом и соратником, верной спутницей жизни Ирмой Петровной Гартунг. На самодельных деревянных стендах под стеклом — коллекция русских и советских денег, монеты других стран. Особый стенд отведен личным вещам калтайцев, ветеранов Великой Отечественной войны — военные билеты, ордена и медали, боевое оружие.



Вот и нам нравилось бывать в этом уголке, созданном дружной учительской парой. Он представлялся нам школой в школе. В нем мы чувствовали себя, как в деревенской горнице, превращенной в музей и одновременно в учебный класс. В этом классе хорошо дышалось и разговаривалось — о жизни, о творчестве, о том сокровенном, чем не с каждым поделишься. Здесь-то и услышали мы впервые историю жизни Леонида Андреевича (Генриховича), многое из которой перешло затем в лучшую его повесть «Алеша, Алексей». Много, но, конечно, не всё. Ведь литературное произведение — не копия пережитого, а какие-то детали, наиболее важные переживания, мысли, чувства, события, по-своему увиденные и осмысленные, по-иному построенные и названные. Если наложить на повесть биографию писателя, совпадут далеко не все моменты, но именно эти расхождения и определяют художественную значимость произведения, развитие внутреннего мира его героев и самого автора, умение одухотворить текст подтекстом.

А биография у Гартунга для повести самая подходящая: родился 13 мая 1919 года в Самаре в семье «военмедов» (отец — хирург, мать — медсестра). Первый год своей жизни провел в красноармейской теплушке и таким образом «участвовал» в освобождении Приуралья от Колчака, в сражениях на Польском фронте. Рано лишился отца. Детство и юность прошли в Саратове. После окончания исторического факультета Саратовского университета уехал учительствовать в село Пинеровку Саратовской области. Там и начал писать роман о студенческой жизни, о том, к чему успел прикоснуться

душой и опытом. Всё развивалось по восходящей. Но в ту восходящую ворвалась война. По ее жестким законам немцы Поволжья, все без разбора, были переселены вглубь страны, подальше от линии фронта. (Таким же примерно образом поступали правительства и других воюющих стран, например, США. Как только Япония вступила в войну на стороне Германии, японцы, проживающие в Америке, были загнаны в концлагеря). Вот почему уже в октябре 1941 года Гартунг с матерью и женой Ирмой оказался в Томске. Оформился в столярный цех на Степановке рабочим.

Томск тех лет запомнился ему непривычной для города темнотой — уличных огней нет, ориентиром служит только свет в окнах. Семья ютилась в разгороженной занавесками и фанерными щитами комнатенке, где поместилось еще четыре семьи. Из зеленого аптечного пластыря Леонид Андреевич лепил светильнички и, вздремнув после двенадцатичасовой смены в «столярке», садился писать сказки — непременно со счастливым концом. Так уж устроен человек: трудности он привык перебарывать с улыбкой, а плакать от радости. В одну из особенно морозных ночей Гартунг пустил на растопку рукопись неоконченного романа и потом ни разу не пожалел об этом.

Пообвыкнув, приглядевшись, набив мозоли, отправился в районо. «Хочу работать учителем!» — заикаясь от волнения, заявил он. «Пишите заявление, — ответили ему. — Рассмотрим».

Там же, на Степановке, ему разрешили вести математику, физику, химию, черчение. Школа помещалась в бывшем особняке купца Ст. Сосулина, том самом, что построен по проекту декабриста Г.С. Батенькова. Судьба Батенькова глубоко взволновала Гартунга. Он решил познакомиться поближе с его творческим наследием. В результате появился очерк о декабристе, затем другие, уже не «сказочные» работы.

В 1950 году Леонид Андреевич переехал в Калтай. Здесь, собственно, и определилась его учительская и литературная судьба.

Сельская интеллигенция — учителя, врачи, работники культуры — люди особого склада. Их отличает открытость, простодушие, непритязательность, а порой и скованность в отношениях с более шумными и деловитыми горожанами. Именно таким был Гартунг.

Время от времени он появлялся на заседаниях областного литературного объединения, которые проходили то в университете, то в политехническом институте, то еще где-нибудь. Посверкивая очками, скромно садился в уголке. Говорил редко, больше слушал, застенчиво улыбаясь при этом, а если говорил, то слова его на фоне наших витийств воспринимались, как краюха хлеба рядом с пирожным. (Лишь много позже мы осознали истинную цену этой «краюхе хлеба»).

В сентябре 1963 года в Томске была создана областная писательская организация. Первыми ее членами стали Н.Ф. Бабушкин (ответственный секретарь), Л.А. Гартунг, В.Ф. Иванов, В.И. Казанцев,

Е.В. Осокин. К этому времени в Томском книжном издательстве у Гартунга уже вышли в свет три книги: «Трудная весна» (рассказы), «Зори не гаснут» (повесть) и «Окно в сад» (рассказы). Но по какой-то внутренней необходимости он продолжал приходить на заседания литературного объединения, состоявшего в основном из молодежи.

Однажды он пригласил к себе в Калтай нас — представителей этой самой литературной молодежи. Тогда-то и открыли мы для себя глинистый уступ над затокой Панькова, и школу в школе, и влюбленность учеников в своего Учителя, но главное — увидели и поняли то, что питало книги Леонида Андреевича, делало живыми и полнокровными образы молодого врача Виктора Вересова из повести «Зори не гаснут», учительницы Тони Найденовой из повести «Порог», старого библиотекаря Потупушкина из повести «На исходе зимы» и героев его многочисленных рассказов. Поняли, что бессмертный герой литературы, ее вечный сюжет и загадка — это жизнь. Наше общение с Леонидом Андреевичем, удивительно скромным, интеллигентным и интересным человеком, оборвалось с его кончиной в 1994 году.

Книги многих писателей, в том числе и Гартунга, сейчас почти не востребованы. Но это не значит, что их нет. Они продолжают жить своей жизнью, которая не уместается в рамки одного отрезка времени, каких-то преходящих пристрастий и модных установок. Рано или поздно интерес к ним снова появится. Вспоминая Леонида Андреевича, мы нередко говорим себе: писатель и учитель — родственные понятия, и как прекрасно, когда они соединяются в одном человеке, как хорошо, что живет и развивается *школа в школе*, и не исчезает влюбленность учеников в своих учителей.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПОВТОРОВ

В последний год своей жизни (1976) Иван Ульянович Басаргин писал: «... цветы осенние любят и грустят. Не потому, что жизнь на исходе, а потому, что она уже не повторится. И пусть не повторяется. Повторять себя — это пошло. Надо прожить раз и без повторов».

Именно так, без повторов, он стремился жить. Потому и успел в сорок шесть лет сделать очень многое.

Зная, что неизлечимо болен, Иван Ульянович не любил говорить о своих недугах. На больших губах его, в глубине светлых внимательных глаз всегда теплилась добрая улыбка. Он был подтянут, бодр, любил пошутить, покуролесить. Сам много работал и в других поддерживал прежде всего жадность к творчеству.

Уже на больничной койке, в письме к любимому человеку, он признавался: «Смешно, но мне хочется стать мальчишкой, который бы босиком бежал по росным травам, с разбегу — и в речку. О, как здорово быть мальчишкой! Бояться домовых, лесовиков, чертей. Мы ведь в свою пору многих боялись. Особенно чертей, которые водились в бане... Зимой же — на печь, на семечки, к теплым кирпичам. Любил я русскую печь. Жаль, что сейчас нет таких печей. Быть мальчишкой, жить теми маленькими радостями. Но я, кажется, так и не был мальчишкой. Я рано стал мужиком, пахарем».

Мужиком он стал далеко от Томска — в Приморском крае, в затерявшейся среди сопок таежной деревушке Нижние Лужки. Возле нее текла холодная ключевая речка Фудзин. Летом и осенью в нее заходила нереститься кета — дальневосточный лосось. Серебристая в море, в речных водах кета становилась буровато-желтой, на ее вздувшихся боках появлялись лиловые или малиновые полосы.

Едва начинался ход кеты, к берегам Фудзина поспешали на долгожданный пир медведи, харзы, еноты, выдры и другие обитатели тайги. И тогда мальчишки из Нижних Лужков, дети крестьян-охотников, и среди них Ваня Басаргин, часами наблюдали необычную рыбную ловлю, потешались над тем, как ловко действует у воды косолапый, как ворчит на ворон, прыгающих возле. Потом ребята сбрасывали с береговой гальки гнилую рыбу, чтобы запах от нее не относил ветром к деревне.

Порой звери забредали на огороды, и снова радость, игра — выпугивать их оттуда шумом, криками, плясками. Тайга была первой жизненной школой Басаргина. Второй школой стала далекая, но от этого не менее страшная и опустошительная Великая Отечественная война. Ее эхо докатилось и до Приморья... В двенадцать лет ушел с дробовиком на самостоятельный промысел Ваня Басаргин, старший парнишка в многодетной семье, кормилец ее и поилец. Пять лет

провел он в промысловой тайге. Добывал колонков (за каждую шкурку — триста граммов муки, пятнадцать — пороха, тридцать — дрови и два с половиной рубля деньгами), белок; шишковал с такими же, как сам, подростками, спасал их в трудную минуту от стужи и голода; искал корень женьшеня, выкапывая его палочкой, сделанной из рога косули... Разные попадались корни — красивые и некрасивые. Некрасивые похожи на корни тополя, такие называют крабами.



Красивые напоминают фигуру человека. Это корень-богатырь. Но самый ценный корень — корень-женщина. Именно такой попался ему в восемнадцать лет.

Друзья научили Басаргина не только брать у тайги дары, но и возвращать взятое. Выкопав корень женьшеня, они возвращали земле его семена. Чтобы зерно не загнило, мякоть с него обсасывали. На губах оставался горьковато-сладкий привкус, терпкий, особенный. Как и кедр, женьшень растет медленно: лишь один грамм прирастает за год.

Многих людей, хороших и плохих, повстречал Басаргин на таежной тропе, ко многим судьбам прикоснулся своей судьбой. Общая дорога, общий костер, общий ночлег располагают к откровенности. Товарищи или попутчики рассказывали, а он внимательно слушал. Слушал и запоминал, еще не зная сам, для чего. Рассказы складывались в единое повествование, вызывали в душе неведомые дотоле желания, чувства, мечты.

Не только тяготы послевоенной жизни, но и эти смутные желания заставили Басаргина пуститься на поиски своего любимого дела. За несколько лет он сменил чуть ли не десяток профессий: работал добытчиком на золотых приисках, водил баркасы по строптивым рекам Зейского бассейна, был слесарем автогаража, фрезеровщиком, токарем, молотобойцем, в двадцать два года окончил Хабаровскую культурно-просветительскую школу, возглавил сельский клуб, но вскоре перешел в обычную школу — учить ребят токарному и слесарному делу. Затем шоферил, был начальником автомотоклуба и, наконец, попал туда, куда неосознанно стремился все эти годы, — в районную газету «Авангард», литературным сотрудником.

Первый свой рассказ Иван Ульянович написал и опубликовал в тридцать пять лет. В тридцать девять приехал в Москву на Пятое

Всесоюзное совещание молодых литераторов, был принят в Союз писателей, зачислен на Высшие литературные курсы.

Нам довелось быть участниками того же совещания. На нем мы и увидели Ивана Ульяновича впервые. Невысокий, большоголовый, с буйно кудрявой шевелюрой и крупными чертами лица, он выделялся из общей массы действительно молодых литераторов не только зрелым возрастом и необычной внешностью, но и темными бородами недавних ран на лбу, на щеках — их он получил в схватке с медведем. До сих пор помним, как он, в сверхмодной тогда, не очень идущей ему замшевой куртке, заложив руки за спину, важно вышагивал по холлу гостиницы «Юность», где мы жили. Многим, в том числе и нам, казалось, что он держится высокомерно. Не оттого ли, что его обласкали известные писатели, руководители семинара? Звездная болезнь — вещь коварная.

И только значительно позже, когда Басаргин перебрался на жительство в Томск, поближе к уникальному архиву Сибири и Дальнего Востока, и мы стали товарищами, открылось нам, что, несмотря на похвалы признанных авторитетов, чувствовал он себя на том совещании неуверенно, всячески пытался скрыть свою растерянность, боялся поверить в неожиданный успех и в то же время жаждал его, наголодавшись по ободряющему и одобряющему слову.

Томск пришелся ему по душе, но, измученный ностальгией по родному Приморью, он все чаще и чаще сравнивал: «Река Томь... Как она похожа на наши приморские речки, реки. Здесь тоже крутые, порой совсем недоступные берега, а ко всему размытые, разбитые, как будто речка хотела глубже закопаться в землю. Но от кого? Только разве воды одинаковые: на плесах они шумно вздыхают, гремят на перекатах. Сибирская тайга... Она тоже похожа на нашу тайгу Уссурийскую, с ее непролазными чащами, густым подлеском под кронами деревьев. Но у нас нет болот, а здесь их много, опасных и непроходимых...»

Нам же переезд Басаргина в Томск представлялся естественным не только по творческим и житейским причинам, но и по историческим. Ведь именно томские казаки под началом Ивашки Юрьева сына Москвитина в 1639 году проложили путь на Дальний Восток и к Охотскому морю. Именно томич казак Нехорошка Колобов в своей «скаске» о том похоже писал, что «те де реки собольные, зверя всякого много и рыбные. А рыба большая, в Сибири такой нет, по их языку кумжа, голец, кета, горбуня, столько де ее множество, только невод запустить и с рыбою никак не выволочь... А жили они на тех реках с проходом два года... приход в стругах борадастые люди доуры¹, а платье на них азямы²... А русских де людей те борадастые люди называют себе братьями. А живут де те борадастые люди х той

¹ Оседлые земледельческие племена монгольской группы.

² Мужские одежды типа длинного кафтана.

правой стороне в лето на Амуре-реки дворами, хлеб у них и лошади, и скот, и свиньи, и куры есть, и вино курят, и ткут, и прядут со всего обычая с русского...»

Перечитывая строки этой «сказки», мы, не сговариваясь, представляли на месте вернувшегося в Томск из дальнего утомительного похода казака Нехорошки Колобова — Басаргина. Он тоже *вернулся*, если не на родину, то на «прародину» своих предков. Ведь они шли через Сибирь к Теплому морю — Тихому океану чаще всего с долгими остановками, роднясь по пути с местными народами, прорастая корнями то здесь, то там.

Об освоителях Приамурья написано немало ярких, талантливых книг. Достаточно вспомнить серию романов Николая Задорнова «Амур-батюшка», «Далекий край», «К океану», «Капитан Невельский», «Война за океан», роман Николая Наволочкина «Амурские версты» и другие. Басаргин не убоился трудностей проторенного пути. С первых же литературных проб, признавался нам Иван Ульянович, он чувствовал в себе дар не просто повествователя, но романиста. Рассказы теснили его клокочущую фантазию своими рамками, он ворочался в них, как медведь в берлоге. Наконец не выдержал и шатуном стал выдираться в более «просторные» жанры.

Роман «Дикие пчелы», написанный еще в Приамурье, дался ему трудно — жизненный опыт переполнял, а литературного не хватало. Не хватало и нужных знаний историко-социального, этнографического, географического порядка. Пришлось обложиться книгами, заняться самообразованием.

Басаргин чувствовал себя легко и уверенно там, где можно было живописать природу, обитателей тайги, сшибки людей сильных, не прячущих своих страстей. Однако далеко не всегда ему удавалось органично связывать эти живописные куски. Неловкие литературные швы портили общую картину. Чувствуя это, писатель досадовал на себя, но начатой работы не прекращал.

Под его пером зримо оживала староверческая община во главе с умным, но двоедушным наставником Степаном Бережновым. Основатели этой общины в давние поры, еще при самодержце Алексее Михайловиче, бежали в леса и болота от «срамных» нововведений патриарха Никона и растленности отцов официальной церкви. Вдоволь наскитавшись и намаявшись, раскольники нашли наконец приют в восточных неизведанных землях, обжились, обстроились. Но главной их надежде — остаться в стороне от мирской толкотни, спрятаться в таежных глубинках, сохранить обычаи и порядки отцов — не суждено было сбыться. В поисках счастливой доли к берегам Тихого океана устремились не только они. Следом пришли крестьяне, ремесленники, обездоленный люд — кто по своей воле, а кто и по принуждению. Выбирать переселенцам не приходилось. Они выжигали, раскорчевывали тайгу по соседству с общиной, ставили деревни и заимки. Их далеко не православная жизнь, основанная на власти денег, разворошила скит, как пчелиный

улей, вызвала разброд в умах молодых староверов. Имущественное неравенство, неоправданно жесткие догмы и установления старообрядцев заставили уйти из общины охотника Максима Булавина, человека светлой, не источенной бедами и людской несправедливостью души. И тогда односельчане нарекли его колдуном, дьяволом.

Судьба справедливого, доброго человека, прославившего дьяволом, пересеклась с судьбами дьявола в человеческом обличье купца-убийцы Степана Безродного, обманутой им Груни Маковой и полуволка-полусобаки Шарика, человеческой жестокостью превращенного в Хунхуза, то есть разбойника, а затем в Черного Дьявола...

Когда работа над романом «Дикие пчелы» была закончена, оказалось, что он растянут по времени, перенаселен действующим лицами, вставными эпизодами, которые сами по себе были интересными, но замедляли и утяжеляли общее повествование.

Одним из первых роман прочитал Николай Павлович Задорнов. Он-то и посоветовал Басаргину выделить историю трех «дьяволов» в самостоятельную повесть, а к «Диким пчелам» через время вернуться, доработать — роман стоил того. Так вот и родился «Черный Дьявол» — книга, которая выдержала несколько массовых изданий, была переведена в Болгарии и Чехословакии, заслуженно привлекла к себе доброжелательное внимание читателей и критиков.

В свое время, оценивая заслуги Владимира Арсеньева перед отечественной литературой, Максим Горький подчеркивал, что певцу Уссурийского края «удалось объединить в себе Брема и Фенимора Купера». Удалось это сделать и автору «Черного Дьявола». Вслед за А. Куприным, Р. Киплингом, Д. Лондоном и другим замечательными писателями, но на своем материале, со своей интонацией, он поставил в центре повести умную благородную собаку, наделив ее человеческой душой. Повесть читается с неослабевающим интересом. События в ней развиваются стремительно, постоянно таят в себе неожиданность. Щедро пересыпана иносказаниями, символами. Но, пожалуй, главное, что ее отличает, это сказовость, стремление к сгущенности образов. Сказ тем и отличается от обычного повествования, что в нем противоборствующие силы даются намеренно прямолинейно — без этой борьбы Добра со Злом теряет свою наглядность и поучительность.

Басаргину удалось создать произведение взволнованное, поэтичное, с яркими характерами, с сильными страстями. Некоторые критики упрекали его в излишней склонности к натурализму, упрощенности, театральности, декоративности пейзажей, нарочитости ситуаций. Вероятно, в отдельных случаях с ними можно согласиться, но далеко не во всем. И прежде всего потому, что они не учитывали главного — установки писателя на сказовость.

Повесть «Черный Дьявол» помогла Басаргину найти свою писательскую манеру, услышать собственный голос, уточнить свою

тому. Дорабатывая роман «Дикие пчелы», он почувствовал необходимость вновь вернуться ко времени наиболее массового заселения Приамурья. Ведь не только старообрядцы пришли сюда тропой изгоев, не только землепроходцы и солдаты, но и беглая крестьянская вольница с Камы-реки, из других мест «низовой России». В поисках справедливого мужицкого царства, заповедного Беловодья, они долго тащились по сибирским пределам, зимовали, по весне закладывали пашни и, впрок запаса хлебного провианта, снова двигались дальше, мимо каторжных поселений и разбойных деревень, через таежные урманы, по могучим рекам, то сплавом, то пешим ходом. Однажды встретили молодого морского офицера, назвавшегося Невельским. Кабы знать им, что это ничего не говорящее им имя вскоре станет гордостью и славой земли русской, войдет накрепко в их жизнь...

Чем ближе подвигались к сказочному Беловодью крестьяне-бегуны, тем меньше становилась их вольница, тем больше новопоселенцев оставляли они на чужих берегах. То миром, то войной встречали их местные народы, но ни холод, ни лишения, ни враждебные кордоны не могли остановить упрямого движения. Так кета идет нереститься в таежные реки. Остановились лишь у гор Тигровых...

Если «Черный Дьявол» свидетельствовал о рождении нового таланта, то роман «В горах Тигровых» показал зрелость этого таланта, его серьезность и перспективность. Иван Басаргин смело свернул с проторенной дороги и стал прокладывать собственную.

Подобно учителю своему Задорнову, он замыслил серию исторических романов о земле дальневосточной. Над третьим из них Басаргин работал до последнего дня жизни, но успел написать лишь несколько частей... На его столе осталась также черновая рукопись повести «Тревожные люди», своеобразно продолжающая книги «Акимыч — таежный человек» и «Волчья ночь», повесть «Цветы после заморозков», очерки о людях томского Севера, рассказ «И мать, и первая любовь», папки с многочисленными архивными материалами, которые он собирал для будущей работы. В его предсмертных записях много размышлений о смысле жизни, о любви и разуме.

«...Любовь и разум. Это извечная борьба двух начал. Разум прямолинеен, как разлинованная тетрадь, как карта без белых пятен. Любовь сумасбродна, архаична, готова всё переломать и перекрутить.

... Не будь разумного начала, а живи одна любовь, в этом мире творилась бы жуткая анархия... Не пошли бы влюбленные на работу. Очертя голову те же влюбленные стали бы уходить из семей. Остановились бы поезда, пароходы, не полетели бы самолеты, потому что влюбленные хотели бы миловаться...

... Я совершенно согласен с Брэдли, что вначале дух, а потом тело. Ибо дух рожден от солнца, а тело из чрева матери. Но я не согласен с ним, что дух должен... подавлять тело — и наоборот. Никто

никого не должен давить. Никто никому не обязан платить долги. Они сошлись, перешептались, требуют равности. Я с ними согласен.

... Я не защитник свободной любви, но я за большую любовь.

... Любовью можно лечить людей. Только одной любовью...»

А еще в этих записях есть строки о друге и наставнике Басаргина в молодые годы, старом ороче Арсе Зургулу. «Душа никогда не умирай, — говорил Арсе, — Она всегда живи. Умирай ее дом...» Арсе считал тело домом души. Из одного дома душа переселяется в другой.

На наш взгляд, добрая талантливая книга — это и есть *дом души* ее создателя. Иван Ульянович Басаргин, как и Федор Иванович Тихменев, Николай Федорович Бабушкин, Леонид Андреевич Гартунг, Мария Леонтьевна Халфина и Виктор Дмитриевич Колупаев, люди светлой души и большого таланта, оставил после себя не один дом, а целый городок. По сегодняшним (ошибочным) меркам он не очень современен, лишен глянца и уж вовсе не рыночен. Зато он стоит на надежном фундаменте; в нем много сердечного тепла и света; в нем обитает бессмертная мечта о добре и справедливости.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

«Русской литературы есть существенное отличие от всякой другой литературы, — считает Валентин Распутин. — У нас литература была шире искусства, являлась выражением народной судьбы, она существовала не для развлечения читателей, а для его собирания в духовное национальное тело... Ее бы и хотели отменить, да ничего не получится. Пока жива Россия — будет жить и русская литература».

Томск — частица России, ее многотрудной, но и прекрасной истории, ее национального духа, ее народной судьбы. В 2004 году он отметил свое четырехсотлетие. Два века из них прослеживаются уже не только по историческим, но и по литературным источникам. Один из первых — письма с дороги и путевой дневник Александра Николаевича Радищева, «бунтовщика хуже Пугачева», как отзывалась о нем императрица Екатерина Вторая, а по меркам второй половины прошлого века — «диссидента» величины Солженицына. Радищев побывал в Томске дважды — в 1791-м году, следуя в Илимский острог, и в 1797-м, возвращаясь из ссылки. Скупыми, но выразительными штрихами обрисовал он местную торговлю и дороги, население и звериные промыслы, крайне запущенное земледелие и скотоводство, высокие налоги и кабалу за недоимки на винных заводах. Конечно, это была еще не художественная литература, а лишь ее зыбкий проблеск, но он помогает обозначить направленность и примерное время возникновения в крае того течения, о котором исчерпывающе сказал Распутин.

Ныне, в пору бесчеловечных криминально-рыночных реформ, принято приукрашивать социальное устройство царской России, романтизировать высшее сословие, внушать мысль о неизбежности возвращения страны на капиталистический путь развития, но сами судьбы, дела и устремления наиболее совестливых и талантливых сынов Отечества говорят об обратном.

Следом за Радищевым «во глубину сибирских руд» высланы были декабристы. Один из них Гавриил Степанович Батеньков на следствии по делу тайных сообществ (март 1826) заявил: «...Цель покушения не была ничтожна, ибо она клонилась к тому, чтобы ежели не оспаривать, то, по крайней мере, привести в борение права народа и права самодержавия, ежели не иметь успеха, то, по крайней мере, оставить историческое воспоминание... Покушение 14 декабря не мятеж... но первый в России опыт революции политической, опыт почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов. Чем менее была горсть людей, его предпринявшая, тем славнее для них, ибо хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц, готовых для подобных дел, глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался...»

Двадцать лет Батеньков провел в одиночке на Аланских островах и в Петропавловской крепости. За это время разучился говорить, стал плохо слышать и только в томской ссылке ожил, вернулся к педагогической, научной, строительной и литературной деятельности. Здесь его вновь потянуло к поэзии:

*Всё та же Томь хрящ роет и несет,
Струит свои морщины молодые.
Кайма высот одним широким кругом
Объемлет город юный и живой...
Своя здесь мысль. Свое — одно — здесь чувство.
И страшно было бы за горизонт
Родной в пустыню не распространиться...*

.....
*Всё то же здесь: но я-то тот же?
Уже полвека грудь мою стеснили
Скорбей и бедствий полные...*

.....
*Я тот же. Да. Бессмертная душа
Не знает старости, и может воля
Стереть громаду мертвую препон.
Я верую, что долго буду жить.
И преступлю страну и поколение.
И возбужу отвыкшую любовь...*

Эти строки написаны в 1846 году и озаглавлены символично — «Надежда». А навевны они воспоминаниями о том времени, когда Батеньков после окончания Петербургского института путей сообщения работал в Томске инженером 10-го округа этих самых путей, благоустраивал наш город, способствовал развитию в нем духовной жизни. И вот новая встреча — через столько лет, но уже в качестве сильнопоселенца.

В его письме одному из друзей звучат те же нотки самоотреченности что в «моем последнем слове» Петра Ивановича Макушина, что и в письмах Ростислава Сергеевича Ильина, сосланного в Томск много лет спустя: «Я бы продал что-нибудь, если бы имел хоть нитку не общую и не строго потребную для обыденного употребления. А знаешь ли ты, что я всю жизнь мою ничего не продавал? В старой Греции это сделало бы меня основателем школы. Всё купленное и не вошедшее в употребление, или вышедшее из него — я раздаю; вообще покупаю не для себя, а в общину. Так и мысль стоит: завожу, чего дом и семья требуют. Сапоги ношу дотол, пока все мастеровые откажутся их починивать; новые часто переходят к другим, не бывши и надёваны. Не люблю обнов, особливо на голове и на ногах...»

Еще два декабриста — Николай Мозгалеvский и Павел Дунцов-Выгодovский — отбывали поселение в Нарыме. Очень злободневно звучат ныне «сумасбродные идеи о правительстве и общественных учреждениях» того времени, которые родились в ссылке

у Дунцова-Выгодского: «Это так только для плезира заведено: чтобы нас не считали явными, отъявленными ворами, мошенниками и разбойниками, мы прикрываем свою шельмовскую, дворянскую, благородную породу видом законов, присутственных судебных мест, правосудия и правительства, в самой же вещи эти законы есть то же, что и у вора дубина, а присутственные места — это воровские притоны; отцы же начальники — это разбойничьи атаманы; не веришь, так сунься с жалобой к тому отцу-командиру на любого вора и увидишь, какой тебе суд будет и правосудие».

На смену декабристам в Сибирь хлынули следующие поколения политических ссыльных. Многие из них были людьми высоко образованными; помимо других талантов имели еще и литературный дар. Среди томских ссыльных к их числу относился: видный учитель российской словесности петрашевец Феликс Толь; революционер-практик, анархические идеи которого, по свидетельству современников, представляли из себя «смесь прудонизма с коммунизмом», оказавший самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных понятий» Михаил Бакунин; опальный юрист, начавший писать в Томске обличительную книгу «Положение рабочего класса в России» Василий Берви-Флеровский; известные писатели Владимир Короленко, использовавший многие эпизоды из быта томской тюрьмы в очерке «Содержающая», рассказе «Убийец», в «Истории моего современника» и Константин Станюкович (в Томске написаны лучшие из его морских рассказов — «Беглец», «Василий Иванович», «Человек за бортом» и роман, подписанный псевдонимом Н.Томский, «В места не столь отдаленные»), публицист Феликс Волховский, создавший впоследствии за границей «Фонд русской вольной прессы», и другие исторические личности.

Батеньков и Бакунин не были знакомы — томскую ссылку они отбывали в разные годы. Но книга, но литература имеют удивительную способность соединять людей. Узнав, что Батеньков оставил в Томске редкостную библиотеку, Бакунин написал ему в село Петрищево Тульской губернии: *не уступите ли вы мне свои книжные богатства, Гавриил Степанович?* Тот ответил согласием, но сделал приписку, значимость которой сегодня не только не уменьшилась, а напротив стократ возросла: «Относительно Сибири нужно держаться такого правила: всякое завезенное в Сибирь умственное добро не должно быть из нее увозимо; под тем или иным условием оно должно быть оставлено в ней».

Так уж получилось, что именно ссыльные заложили в Томске начатки литературной жизни, начали скапливать «умственное добро», прививать мировоззрение, краеугольным камнем которого были справедливость и живой интерес к делам Сибири. Их последователями стали коренные сибиряки, такие как писатель-публицист, «печальник Сибири», «сибирский Герцен» Николай Ядринцев, писатель-народник Николай Наумов, талантливый томский литератор Валентин Курицын (он же Не-Крестовский, автор «Томских

трущоб» и «Человека в маске») и другие. Вот строки из «Песни о веревке» Валентина Курицына:

*На взгорьях родимой долины
Колышется зреющий лён.
Здесь гнулись мужицкие спины,
Мужицким он потом вспоён...
Сожнут этот лён, обмолят,
Пеньку кулакам продадут.
Те «щедро» крестьянам заплотят
И в город пеньку повезут...*

Далее в песне рассказывалось о том, как на канатном заводе из того льна сплетут мужики веревку, как с той веревкой поедут усмирители в бунтующий край, как повесят на ней того пахаря, который растил лён...

Подлинная литература всегда была оппозиционна, противилась несправедливости, произволу, культу наживы. Этим и объясняется то обстоятельство, что у истоков сибирской литературы, в том числе и томской, оказались прежде всего опальные писатели, борцы за интересы народа, жившие его болями и радостями. Но с рождением Сибирских Афин литература края стала прирастать собственными талантами. Пришло время писателей-краеведов, таких как автор «Томской старины» А.В. Адрианов, выдающийся романист В.Я. Шишков, неутомимый исследователь речных дорог Сибири. Пришло время автора популярных научно-фантастических романов «Плутония», «Земля Санникова», «Рудник Убогий», «Золотоискатели в пустыне» В.А. Обручева. Будучи профессором Томского технологического института, он заложил основы сибирской геологической школы, а перебравшись в Москву, создал фундаментальный труд «Геология Сибири» в трех томах, за что был удостоен высших государственных премий и звания академика; но, пожалуй, самым трогательным для сибиряков, в том числе для томичей, стал выпуск его книги «Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность» — своеобразный литературный памятник «дедушке Сибири». Заметный след в литературной истории Сибири оставили поэт-ученый П. Драверт, поэт-художник и просветитель Г. Вяткин, автор «Сибирской студенческой песенки», которая начиналась такими словами:

*Юной верой пламеня,
С Лены, с Биш, с Енисея
Ради воли и труда,
Ради жажды жить светлее
Собралися мы сюда...*

Многие подвижники, чья судьба так или иначе связана с Томском, оказались на рубеже двух эпох — дооктябрьской и советской, прошли через братоубийственную гражданскую войну, через утраты и сомнения двух революций. Не легче оказались годы принудительной

коллективизации, голода, массовых репрессий. А все потому, что в руководстве ВКП(б) оказалось немало суперреволюционеров, которым были чужды интересы России и государствообразующего русского народа. Это они, а не вся партия, грезили мировой революцией, сбрасывали «с борта современности» отечественную классику, упраздняли в школах преподавание отечественной истории, преследовали национально мыслящих людей. Ныне все деформации советской истории принято приписывать коммунистической идее, идее коллективизма и социальной справедливости, а не тем реальным людям, которые, оказавшись у власти, всячески извращали эту идею, вели изнутри разрушительную деятельность. Но правда состоит в том, что партия была неоднородна, в ее руководстве на протяжении многих лет шла скрытая борьба между «западниками» и патриотами — борьба за душу России, ее нравственность, ее судьбу. Известный российский поэт, в прошлом томич, Василий Казанцев написал об этом так:

*— И негодуй, и горько плачь.
И негодуй — и плачь.
Он был и жертва, и палач.
И жертва — и палач.*

*— Но помню твердо я о том,
Что на пути своем
Он был сначала палачом,
Он жертвой стал — потом...*

Несмотря на деформации, а зачастую вопреки им, национальное тело России на протяжении семи десятилетий крепло, восстанавливало свою мощь и силу, стремительно развивалось. Свидетельство тому — выдающиеся достижения во всех областях науки, техники, в промышленном производстве, литературе, искусстве. Одно поколение поднималось на плечах другого, упрямо сохраняя корни нравственности, общинности, народные обычаи и традиции, всеобщее национальное достояние — русский язык. Вот и советская литература возникла не на пустом месте, и сибирское ее ответвление, и томское. Она сложилась из многих судеб, из разнородных талантов, из художественных произведений всех жанров, стала яркой летописью народа, который не замер в своем движении, а продолжал жить, развиваться, имея перед собой ориентир — путь тысячелетней многонациональной России. Лучшие страницы этой летописи — всемирно признанные произведения не только русской классики, но и советской, в том числе произведения сибирских писателей.

Одна из особенностей российской словесности — ее чистота, обращение к душе человека, к лучшему в ней. Показывая даже самые страшные, самые отвратительные события, интимные сцены, писатели не переступали некую незримую черту дозволенности, продиктованную еще евангельскими представлениями о добре и зле,

о грехе и блуде, непристойностях и скотоподобстве, извращениях и тайнстве брака. Не забывали о древней заповеди «Не навреди!» Другое божеское начало — многонародное братство, стремление к любви, самоограничение во имя общего блага, неприятие ростовщичества, его пагубной идеологии, поощряющей торговлю в храмах и отступничество. Эти неписанные законы были путеводными для многих писательских поколений. И вот наступил обвал...

«В России, — считает ученый-философ, известный русский писатель-диссидент А.А. Зиновьев, — наступило время, как мне кажется, массового помутнения умов, инициаторы и участники этого помутнения изображают его как протрезвление и прозрение после мрачной эпохи сталинизма и брежневизма... Я вижу в этом интеллектуальную и моральную деградацию советского общества. Одним из ее проявлений является идеализация Запада. Вместо старой идеологической лжи относительно Запада — средоточия зол — пришла новая идеологическая ложь, в которой Запад выглядит уже как средоточие добродетелей и как образец для подражания. Этот идеологический поворот не вызрел в широких слоях населения на основе их жизненного опыта — такого опыта вообще не было. Он был спущен сверху в качестве некоей идеологической и политической установки».

Ныне в России сосуществуют как бы три народа. Один, наименьший числом, живет по установкам президента и правительства, по законам дикого рынка, другой — по традициям Отечества, третий мечется меж двух берегов, вконец запутанный средствами массовой дезинформации. То же произошло и с Союзом писателей России. Он раскололся на неравнозначные части. Одна торчит над зыбкими водами, как вершина айсберга, заваленного детективным, сексуальным, политико-разоблачительным и просто развлекательным ширпотребом, другая, более мощная и монолитная, до поры сокрыта под водой, копит силы, сохраняя все подлинное и корневое.

Главное «достижение» рыночных реформ — повсеместное разрушение хорошо налаженной издательско-книготорговой системы, упразднение не только идеологической, но и нравственной цензуры, создание таких условий, когда творчество ставится на коммерческий поток, когда всё продается и покупается.

Еще раз вспомним Валентина Распутина: «Мы все в советское время дружно жаловались на цензуру, но ведь литература-то была — и какая литература! Цензура была бессильна против художественности; мы знали прекрасно, что для того, чтобы сказать что-то, подпадающее под цензурный параграф, надо сказать хорошо, не голо, зашифровать для цензора и оставить понятным читателю. А это и есть условия литературы — сказать хорошо. И читатель читал не поверхностно, а внимательно, глубоко отслеживая, читал подтекст — иногда даже там, где его не было».

Оглядываясь назад, мы видим возделанное, пусть далеко не всегда так, как хотелось бы, хлебное поле. Окидывая взглядом сегодняшний день, мы видим пустырь, загроможденный обломками

прошлого, а поверх этих обломков рекламную драпировку, призванную прикрыть зияющие провалы в экономике, науке, образовании, здравоохранении, литературе и искусстве, узаконенное растаскивание народного богатства, коррупцию, преступность, вопиющую нищету и тут же невиданную роскошь, чужебесие и чужесловие, — и всё это не где-то далеко, а рядом с нами.

Невольно вспоминается наш давний разговор с Федором Ивановичем Тихменевым, одним из родоначальников писательской организации. Мы спросили его, что он считает самым невыносимым в своей гугаговской жизни. Федор Иванович ответил:

— Духовное насилие. Физические лишения не так страшны, как попрание человеческих начал. Страшно, когда тобой помыкают люди алчные, корыстные, не имеющие ни трудовых навыков, ни совести, ни понятия о законах божеских. Их закон — кулак, обман, деньги, вокруг которых всё и вертится. Это закон распада расчеловечивания. Несчастно общество, в котором он возобладает.

То, что Тихменев считал несчастьем, ныне преподносится как прогресс, возрождение, возвращение к подлинной цивилизации. «Реформаторов» не переубедить. Но и нас — тоже.

Мы не беремся оценивать состояние сегодняшней томской литературы. Созданные за последние годы произведения не равнозначны по художественному уровню, разнятся авторской позицией, направленностью. К тому же рыночная уравниловка поставила в один ряд литературу художественную и литературу бульварную, развлекательную, действие которой подобно действию алкоголя или наркотика. Она сегодня и правит бал. Под ее натиском дрогнули даже поистине талантливые авторы. «Для читабельности» они стали включать в свои произведения сцены и целые главы, написанные по меркам бульварной, коммерческой литературы. Да и писателем теперь нередко называют любого, кто сумел издать одну или несколько книг. А выпустить книгу может сегодня каждый, кто имеет деньги. У писателей их, как правило, нет.

Книгоиздательская и книготорговая системы переведены на рыночные рельсы. Теперь в большинстве случаев писатель сам должен найти средства на издание своей книги, организовать издательский процесс, а затем реализовать книгу. Таким образом его усиленно заталкивают в предприниматели, а подлинное творчество и предпринимательство, как известно, — системы с разнополюсными координатами. Тут выбор крайне ограниченный: либо «делать деньги», либо создавать *литературное произведение*, влача нищенское существование. Третье редко кому удастся.

Еще одна беда — отсутствие закона о творческих Союзах и творческих работниках. Старые законы не действуют, а новые не приняты. Это значит, что писатели, художники, композиторы поставлены *вне закона*. Они как бы есть, но их как бы и нет. Однако администрации ряда регионов России этот перекося стремятся выправить на местах — и не разовой поддержкой тех или иных авторов и изданий,

а комплексом продуманных, разносторонних, включенных в текущие бюджеты мер.

Вот один только пример. Последний по времени (март 2004 года) съезд Союза писателей России состоялся не в Москве, как обычно, а в Орле, который справедливо называют «третьей литературной столицей России». Немалую часть расходов по его проведению взяла на себя администрация Орловской области. На всех без исключения заседаниях съезда от начала до конца присутствовал губернатор Е.С. Строев, в прошлом председатель Совета Федерации. Обращаясь к участникам съезда (среди них был и один из нас), он сказал:

— Российские писатели все эти годы были в числе тех сил, которые, защищая духовность и нравственность народа, идеи государственности и патриотизма, каждый на своем месте противостояли «распаду и тлению, мерзости и запустению», когда менялы оказались в храме, коверкая и изуверски извращая тысячелетние устои нашего государства... Каждый из вас по-своему, как на фронте, с одной гранатой в руке бросался на танк, не задумываясь о тленности, пробивал над нами свинцовую тучу лжи и осмеяния нашей истории, охватившего нас безумия. Давно прошло время разбрасывать камни. Время их собирать...»

Не удивительно, что администрация Орловской области помогает своим писателям «собирать камни». По словам Строева, делается это так:

«В Орле много книжных издательств, но писательское издательство «Вешние воды», которое поддерживает администрация области, без сомнения, ведущее, издает львиную долю книг орловских писателей... Сегодня перейден рубеж в 200 книг. И это всего за 14 лет! Но главное, что эти книги разными способами мы доводим до массового читателя: более 50 тысяч томов закуплено администрацией области для 600 школьных библиотек Орла и районов, около 10 тысяч книг передано безвозмездно через областную библиотеку имени И.А. Бунина. Это же издательство выпустило два учебных пособия по литературе для вузов и школ по творчеству орловских писателей от И.С. Тургенева до наших дней».

Но не только издательской деятельностью крепятся отношения орловских писателей и областной администрации. Тесные контакты с творческими союзами поддерживают радио, телевидение, газета «Орловская правда» по-прежнему выпускает «Литературную страницу». И читательские конференции по новым книгам не заменены здесь парадными «презентациями», и творческие поездки писателей постоянно финансируются, и публикации орловцев в центральных журналах. Более того, есть *стипендии* на творческий период, несколько всероссийских литературных премий, учрежденных областной администрацией и правлением Союза писателей России (среди них премии имени И.С. Тургенева, И.А. Бунина, А.А. Фета, братьев Киреевских).

Немало способов поддержки писательского труда в нынешнее «разломное» время накопилось и в других регионах России — в Белгороде и Вологде, Волгограде и Иркутске, Ханты-Мансийске и Кемерове, Мари-Эл и Якутии. Этот ряд можно продолжить. Есть положительный опыт и в Томске. Однако для того, чтобы вернуть писательскому слову общественную значимость, необходима *система* взаимосвязанных действий как городской, так и областной администраций.

На литературной карте Сибири и России наш город по-прежнему заметен. Это говорит о том, что традиции, складывавшиеся веками, помогают нам и сегодня преодолевать жизненные невзгоды, вырабатывать свой взгляд на происходящее, помнить, что литература является выразительницей народной судьбы, а не парком развлечений или полигоном для разрушительных опытов. Она призвана объединять, а не разделять людей.

*Крылата книга, если ей дано
Возвысит душу добрым чистым словом;
Оно начало наше и основа,
Оно всесильно, неподкупно,
но...
Когда его, глумясь, бросают в грязь,
Когда с веселым гвалтом распинают,
Приходит книга-монстр и убивает
Всё лучшее, что прежде было в нас.
Обрушена бывая высота.
Заметно книголюбь поседели.
Но уцелели в этом беспределе
И вера, и надежда, и мечта.
Они вперед зовут, а не назад,
Туда, где нет предательства и рынка.
Вот почему в конце концов тропинка
Опять дорогой станет в Книгоград.*